
Денис СОРОКОТЯГИН

ПИСЬМА СЕБЕ, И НЕ ТОЛЬКО

Этюды

1.

Многие верят, что будет, как прежде, и молятся (как умеют) о том, что когда-нибудь всё* это кончится и они смогут вернуться в то допрежье. Над словом «всё» — звездочка — и где-то в конце этой книжки, которая еще не написана и вряд ли вообще будет иметь финал, я или кто-то за меня разместит примечание или развернутый комментарий для будущих поколений. Содержание этого комментария — мы, сглатывающие это «всё под звездочкой» ежесекундно и уже рефлекторно, будем знать как себя, то есть знать и не знать, но будучи при этом уверенными, что это — всё — было в нашей жизни не напрасно (иначе сход с ума), оно сделало нас сильнее или, наоборот, ослабило. Всех, кто меня зовет в допрежье, я посылаю куда подальше, всех, кто усиленно ностальгирует (years ago), знайте, мне необходимо выучить новый язык безъязычья, а вы старательно вкладываете в мою голову старые тексты о главном, о вечном, удивительно, что это «вечное» сохранилось вечным даже сейчас, но стало еще более недостижимым, что я не могу ощутить его близости к себе, и оно вряд ли влезет в меня хоть какой-то своей частью. Где-то существует это допрежье: с прежней остротой восприятия, чувствования, с запахами давно покинутых людей, подъездов, где на втором этаже из пяти сварили суп, какой он на вкус, я мог узнать по запаху, чаще всего он был никакой, ничем не отличающийся от других супов похожей категорией «что было — в котел», но для меня он был особенным, его варили бабушка или дедушка, поодиночке или вместе, посолив каждый за себя, пересолив в итоге, но так и не взявших вину за пересол.

Нет, все же вспомню. Тягу не следовать туда, куда не хочется. Как можно вспомнить тягу? Оказывается, можно, лишь снова ощутив ее на себе. Я был маленьким — это определение исчерпывающее для этого воспоминания — меня вели от бабушки-дедушки в квартиру, где жили мама-папа (пока еще вместе). Два дома — полярных по своей сути — гостевой бабушко-дедушкин был ближе по причине, с одной стороны понятной (папа выпивал и не всегда был похож на себя), но и иррационально-необъяснимой тяги (опять тяга) к другому возрастному пласту, близкому мне, маленько-

Денис Андреевич Сорокотягин родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Лауреат международных конкурсов вокалистов, чтецов. Автор учебных пособий для ДМШ и ДШИ. Режиссер, художественный руководитель «DAS-театра». Актер Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой. Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни». Живет в Москве.

му старичку, повзрослевшему, поседевшему внутри себя как будто с детства. Идти от одного дома до другого десять минут по одной улице с красивым и поэтичным названием (хочу сказать именем) Белореченская. Меня ведут, я следую за ведомым (не помню, кто это был, да это и неважно), на середине пути, рядом с магазином «Мебель», я вдруг понимаю, что не хочу идти в ту, другую квартиру и принимаю внутри решение немедленно вернуться туда, откуда вышел несколько минут назад. «Но ведь ты только там был», — говорит мне неважно кто. Я плачу и, движимый своей упрямой инерцией, устремляюсь всем телом назад, пытаюсь пробить твердолобым намерением неотвратимость перехода в другую квартиру, хочу назад — к бабушке-дедушке, к супу, от которого в моем памятном хранилище остался только цвет — мочевато-желтый, и какие-то бледно-рыжие всполохи моркови, и какое-то общее понимание, что суп не был и близко вкусным, но он был там — в другом мире, из которого не хотелось уходить ни только в тот день, но и вообще никогда.

И меня вернули в тот дом: зареванного, усталого от плача и дороги туда-сюда, от боданий за право быть там, где хочется быть, видимо, мой поводырь, этот неважно кто, был не промах и долго не сдавал позиций, но детское победило, а взросло-стариковское во мне расхлебывало победу, держа в руках алюминиевую ложку, смотря на полную тарелку невкусного супа с плавающими морковинами. Я ел и думал, думал и ел, расхлебывал, когда мозг занят думой, вкус отходит на второй план, мне нужно было придумать, как обмануть судьбу и не вернуться, никакой рефлексии победителя, мучительная работа мысли с перерывами на вкус вареной морковки, который мало кому нравится из детей, но с годами — взрослея — ты (во всяком случае, я) начинаешь ценить этот терапевтически-уютный вкус. Тогда морковь претила, выворачивала, рвалась наружу, путала мысль. Кто же знал, что суп лишь предлог. Только я.

Я не вернусь в допрежье. Не зовите меня туда. Эти диафильмы с остатками слов, предложений — не для меня. Я поступлю по-своему, снова обману всех, рискуя запутать самого себя. Хочется вспомнить многое, но не из точки сегодняшнего дня, поэтому я буду модернизировать прошлое, взламывать его, дополняя тем, что никогда не было, а могло (на полях). Раз пока нет возможности предугадать будущность, кроме общего катастрофического фона, который скоро, наверное, покроет и нас. Проступим ли мы через него, отбросим хотя бы тень, сохранимся, проявимся ли хоть с какой-то стороны, не известно никому, даже тем, кто в небесных сферах. Даже они в растерянности, разводят руками.

2.

Есть ли у меня силы писать, говорить, кричать себе в прошлое — нет. Не хватит силы голоса, чтобы пробить эти толщи наслоений, настроений, ведь это только кажется, что все там давно кончилось и не нуждается в наших советах и правке. А мы кричим, напрягаем связки в надежде быть услышанными. Перерешить уравнение с двумя неизвестными — не удастся. Строгий учитель поставил двойку и не дал права исправить оценку.

Мне семь. 2000 год. У меня день рождения. 26 мая. Важно добавить, что у меня вновь близится день рождения, через две недели мне будет тридцать, на дворе 2023-й, и я не помню, что мне подарили на прошлый день рождения (переводы на карту, лучше «Тинькофф», спасибо, дружище, спасибо, мама). Тогда, в 2000-м, я мечтал о «Бионик-

ле» (у всех в классе были, у меня нет), но мама подарила мне альбом Аллы Пугачевой «Речной трамвайчик». «Привет, привет! Пока, пока...» — эти строчки из этого альбома. Позже я выясню, что альбом был самопальным, но это знание ничего не изменит.

В тот самый день рождения моя тетя подарила мне рюкзак (жестокий намек на скорый поход в первый класс). Правда, с этим рюкзаком нельзя было идти в школу: он не был вместительным, был волшебным (как и я), выполнял скромные, сказочные функции. Мягкий на ощупь, как игрушка, плюшевый дом желтого цвета с большими окнами, одуванчиками торчащими из фундамента, водосточной трубой, похожей на скривленную ветку, но самое главное и крутое — черепичная, плюшевая крыша, докрасна разогретая на солнце. Весь дом-рюкзак как бы светился изнутри, впрочем, как и я.

Алгоритм действий простой: тетя достает рюкзак из пакета, я вижу его, лучсь от счастья, забывая о всяких там биониклах. Привет, привет! — пою я рюкзаку. Подарок казался мне частью какого-то нового спектакля, который я обязательно поставлю с ребятами во дворе, завтра же, не откладывая. Мою радость видит мой отец, который в этот день, как и в другие дни (обыденно, ничего из ряда вон выходящего), крепко выпил. Он берет из моих рук рюкзак и возвращает его метким броском тете. Я вижу только желтую дугу, мой летящий дом, потом я уже ничего не вижу, слезы застилают обзор, а ненависть, ненависть, ненависть селится внутри меня и внутри моей тети на долгие, долгие годы. Праздник испорчен. И это не исправить. Привет, привет. Пока, пока. Рюкзак остался со мной, но, не успев прожить у меня и дня, оброс биографией, судьбой.

О, Денисик, не стой беззвучным столбом, не прячь вой внутри, не глотай слезы и сопли, не всхлипывай в себя. Крикни те слова, которые ты еще не знаешь или знаешь, но делаешь вид, что еще не дорос до них, вырви из себя хотя бы одно слово. Защити свой поруганный праздник и любимую тетю от несправедливой, жалкой, отцовской агрессии.

Какое это будет слово?
 Какое это будет слово?
 Какое это будет слово?

Я не знаю, честно. Здесь, в 2023 году, сидя в кафе перед репетицией в театре, я не подскажу тебе, Денисик образца 2000 года, то самое верное слово, хотя в нынешнем времени эти слова всегда под рукой, но я здесь, а ты там.

Ты найдешь его, я верю, главное — не бойся, не бойся крикнуть. А я соберу все свои рыхлые силы, чтобы услышать тебя через двадцатилетие. И пусть это ничего не изменит.

Денисик, почти тридцать лет.

3.

Деду

Ты ведь, наверное, знаешь, что случилось со всеми нами. Давай я не буду рассказывать тебе об этом, хотя я привык делиться с тобой всем пережитым. Я в Москве, в пончиковой на Камергерском, которая больше не носит названия «Крайспи Крим»,

а называется как-то по-другому, как-то коряво, что даже сотрудники не до конца понимают, где они работают.

Я дал себе слово, каждый год, в день твоей смерти, писать маленькое письмо тебе, и вот прошло два года, а кажется, что сто два, кажется, что за этот год я повзрослел на десять лет, и боль нашей разлуки притупилась и почти (ты представляешь, и, наверное, все во благо) исчезла, на нее навалились другие боли, но в то же время я еще никогда не ощущал так остро твое живое присутствие во всем, что я пытаюсь делать сейчас.

Я сею добро, жду всходов, искореняю из себя зло, которое, как сорняк, лезет через чудом восстановленную почву. Я ухожу от стороннего зла, несу в себе свет (фонарь, ночник, огонек, долгий блик). Я стараюсь всеми силами светить, лучеиспускать, обнимать и принимать тех, кто летит на этот новый и для меня самого свет. В этом году я отчетливо понял, что я не из тех, кто летит, а из тех, кто стоит и светит другим летящим. Я должен светить, наверное, в этом и есть главная задача моей жизни.

С самого детства я узнал, что такое травма войны, афганский синдром, видя своего папу (твоего сына), считывая тот системный сбой, который произошел во всем его жизненном устройстве. Он был как сложносочиненная фигурка из тетриса, никак не попадающая в уже имеющиеся пазы, на которые наваливались другие фигурки, еще и еще, игра кончалась, а зияющие просветы, дыры так до конца и не остались залатанными. Они вторгаются и в мои сны сейчас: мне снится дача, лето, какая-то понятная всем идиллия отдыха, я сижу на металлической скамеечке, которая сохраняет прохладу, несмотря на то, что стоит на солнцепеке и должна уже была нагреться, я загораю и параллельно мою тарелки, заляпанные жиром и кетчупом, остатками от шашлыка, беру отмокающие тарелки из вытянутого, странного таза и натираю их, отражаясь в них, видя себя почему-то в военной форме, в фуражке, обритого по уставу, перевожу взгляд на тазик и вижу, что это никакой не тазик, а гроб, а скамеечка подо мной — другой гроб. Точнее, они части одного, цинкового, того самого, и судя по всему, сделанного кем-то под меня по спецзаказу. Солнце продолжает светить на тарелку, на красные (это не кетчуп) и коричневые (не шашлык) пятна. Я просыпаюсь и показываю средний палец изготовителю этого всего. Рядом со мной мои дети, твои правнучки, я смотрю в их смелые глаза, слежу за их свободными руками, они лучше меня, ты видишь это, они всегда желают отличиться (в хорошем и даже плохом), боятся быть похожими (это пока), и у них это получается (пока), но здесь они солидарны со мной (и с тобой). Один на всех жест несогласия. Одно на всех желание, чтобы это все поскорее кончилось и что-то другое началось: осторожно, бережно, с трепетом и великим покаянием. Но конца не видно. Но сон во сне сумел кончиться.

Написал и задумался (на секунду): а зачем тебе это все? Тебе ведь хочется о чем-нибудь хорошем: о спектаклях, о готовящихся премьерах, о книгах, которые скоро выйдут, о замечательных людях, без которых бы ничего этого не случилось. Каждый спектакль, текст, книжка — живое доказательство моего присутствия здесь, в этой точке пространства.

А сегодня был на пробах в кино. Это, наверное, мои третьи пробы за восьмилетнюю жизнь в Москве (я расценил их как твой подарок мне в день твоего ухода, ужасный оксюморон, но ты со своим фирменно-странным юмором оценил бы его). Никогда не ищу возможности сниматься, обычно возможность сама находит меня. Это

был разговор с режиссером, знакомство. На первый его вопрос: «Как дела?» — я ответил: «Восемь из десяти». — «О, а куда делись еще две?» — спросил он меня. «О», — глубоко выдохнул я, зная, что и «восемь из десяти» — это заранее придуманная и, как выяснилось, рабочая схема, чтобы не поехать кукухой, все видеть, знать, не соглашаться, но всеми силами сберечь себя для какого-то мифического будущего. Будет ли в нем кино? — для меня не так важно. Будем ли в нем мы — вот что меня волнует. И классно, что был этот теплый разговор режиссера и актера, который еще и что-то пописывает (я рассказал, что должен сегодня написать «Второй слой»), внимательный, острый по мысли диалог, наполненный неподдельным (теперь я научился это различать) интересом к друг другу. Так хорошо мне давно не было. Если ты все это подстроил отсюда, «сверху», спасибо тебе.

Надо заканчивать, иначе есть риск превратить письмо в подобие проповеди. В заключение хочу прикрепить стихотворение Инны Лиснянской. Я полюбил ее стихи (на всю жизнь). Когда в жизни появляется вдруг что-то вечное, желание жить вдруг становится таким острым, что даже чуточку страшно. А в стихах и не может быть иначе:

Судил меня Бог, и щадил меня Бог,
 Берег, и стерег, и наказывал,
 Но ни на одну из возможных дорог
 Перстом никогда не указывал.
 Сама по нутру своему выбирай
 Свой путь, свой удел, свой уклад,
 Не то преисподней покажется рай
 И раем покажется ад,
 А выбрала, так никогда не жалею
 Ни песен, ни башмаков!..
 И выбрала я печальных друзей
 И беспечальных врагов.

И. Лиснянская

До следующего года. До следующего слоя. Твой лучеиспускающий Дениска.

4.

Письмо, где я скрываюсь под видом Мокшина

Мокшин замерзал и буравил взглядом, как ледорубом, свои белеющие чресла. Ему было холодно, до слез (колкие льдинки на ланитах) жалко себя, стоящего посреди Большой Бронной в чем мать родила. Он снова леденел и офигевал от повторения ситуации, переводил взгляд на идущих мимо людей, не обращавших на Мокшина никакого внимания. Бронная лучилась солнцем, пылила в глаза дорогими тачками, витринами бутиков, мужиками с сальными глазами и кобелиными чреслами, готовыми состыковаться с передутой раскрасавицей, одиноко сидящей на веранде и пьющей просекко. «Почему вокруг лето, а внутри меня разрастается льдина?» — говорил Мокшин в шумящую немоту вокруг. Холод захватывал все новые территории мокшинского тела, парализовав сначала его плоскостопие (и, кажется, навсегда его выправив), потом поднялся к голеням, пощекотал вздувшиеся наметки варикоза (Мокшин еще не знал) и вот уже дошел до чресел. Мокшин понял, что это все Марина, ее рук дело,

точнее, рта, выкрикивающего в подъездный коридор что-то на древнеречевском. Мокшин не знал этого языка и вырвал из контекста только две конструкции: «больше ни с кем не сможешь», «смотри, не замерзни там».

Почему не бедра, а чресла? — на этот вопрос Мокшин тоже не мог ответить. Он давно уже относился к своему телу безотносительно и, чтобы хоть как-то ощутить свое присутствие в пространстве, нарекал (именно так) части себя старыми наименованиями. Наверное, так же возвращают названия улицам: была Богоявленская, стала улица Красных Комиссаров, или наоборот, в зависимости от того, каким глазом нужно сейчас смотреть на мир, правым-левым, или вообще отказаться от привычных «очей» (любимое) и нащупать в себе зачатки третьего, провидческого ОКА — все, вижу наперед, но делаю вид, что слеп. Именно когда-то третий глаз, пробившийся в одно из весенних утр, первым увидел Марину, оказавшуюся каким-то образом на коленях у Мокшина в поствечериночной истоме — кто ты, откуда, Спящая красавица (без преувеличения, Марина была и есть огонь). Мокшин разбудил Марину поцелуем, она не сразу поняла, чье лицо нависло над ней, и почему у этого лица три глаза, и что столько пить вчера не следовало, и что любовь прежнюю она наконец вырвала из сердца. Марина была готова открыться новому. Глаз напротив моргнул, одобряя поток Марининых мыслей, и предложил вина.

— Я гол как сокол (без одежды и денег), а людям до меня никакого дела. Да и люди ли они все? Я — точно не-е-е-т — Мокшину было трудно говорить, дышать, лед сковал живот (жировая складка напоминала забытый в морозильнике холодец), перебрался на руки (две гигантские сосульки, отломи-отвалятся), на шею (кадык как бугор), на лицо с застывшим (от крика: Марина-а-а) ртом, на данные от рождения, остекленевшие не от смерти глаза. Лишь третий глаз моргал и, кажется, единственный поддерживал работу вялого мокшинского сердца, выполняя и функции мозга. Снова, как и в то, первое оледенение именно ОКО спасло его, увидев в незнакомой, ничем не примечательной девушке на улице черты Марины. Эта незнакомка была лишь функцией, фактурным подобием той, как выяснилось, главной женщины в жизни Мокшина. Третий глаз смотрел на Марину-не Марину и вымаргивал просьбу о прощении, те самые банальные, замусоленные слова, слово, и лед постепенно таял, отступал, и кровь оживала и заново училась течь по венам уже одетого Мокшина, бредущего куда-то по Бронной, делающего глубокий вдох (свобода, ты ли?) — мол, пронесло, как будто и не было ничего. Только испарина на лбу, на челе, подтверждала реальность произошедшего.

5.

Ты ведь даже не знаешь, какое счастье подарено мне твоими словами

Почему я лечу так, иду так, как пьяный от счастья дурак, как пакет-целлофан то туда, то сюда воспаряю, как лучшее, самое верное воплощение — никому-ничего-никогда я не должен

Это солнце в лицо, этот ветер на набережной, эти блики витрин вновь незнакомому (прежнего нет) города, эти подмигивания светофоров, эти навстречу идущие-летающие кто куда, как и я, улыбаются новой прохладе

Будто не жил здесь, все следы прошлых жизней-смертей вдруг кто-то замел

Может, время? Оно излечило, я не верил, быть может, и прав, что не верил, я просто сейчас до конца не в себе

Может, солнце, может, эта весна, и еще один шанс возродиться из хляби теперь в двадцать третий

А пока я — пакет-целлофан, я забыл, для чего предназначен, я — твое вдохновение (о, ужас)

Я спирали кручу и взлетаю все выше и выше, все, что хочешь, ты можешь увидеть во мне

Как я тебе тут завидую

Ты не знаешь, какая усталость накатит и вцепится в горло, лишь стоит уехать, лишь стоит спуститься на землю и в клетку зайти, где свернулся в рогалик дефлайн и глядит цепким глазом на жертву-меня

Снова выйти из клетки мне нужно, что ты мелешь, кому это нужно, это все в голове — скажут умные люди, скажите уже и уйдите

Я не тот, кем кажусь, я совсем не пакет-целлофан,

я — за-све-чен-ная фото пленка

с теми кадрами, где ты и я, так дурны и беспечны, так щедры и невечны, все засвечено, слышишь, засвечено

Но выжил тот кадр,

на котором я вышел, по сути, неплохо, я вышел из кадра

И в небо пакетом

Покеда

(кручу, как педали, спирали)

Ты смотришь на точку, а небо вокруг плотным шелком

Как я тебе тут завидую